

ИВАН ТУРГЕНЕВ

НАКАНУНЕ

T8 RUGRAM

УДК 82-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Т87

Тургенев, И.С.

Т87 Накануне / И.С. Тургенев. – М. : Т8 Издательские технологии / RUGRAM. – 198 с. – (RUGRAM-КЛАССИКА).

ISBN 978-5-519-66001-3

В нашем новом проекте вы найдете как книги из «золотого фонда» классической русской литературы, так и редкие, почти забытые, произведения авторов, оставшихся в тени своих великих современников. Эти книги не утратили самобытной актуальности, сегодня, как и сто лет назад, они определяют пути русской культуры, ищут ответы на «проклятые вопросы».

Без этих книг невозможно понять кто мы, кем мы были, куда движемся. Мы отобрали для вас самые важные тексты русских классиков, представили их в наиболее полных редакциях, без каких либо сокращений и цензурных изъятий, и составили серию RUGRAM-КЛАССИКА.

Вашему вниманию представляется книга Ивана Сергеевича Тургенева «Накануне».

УДК 82-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)
ВІС FC
BISAC FIC000000

В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцева, в один из самых жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека. Один, на вид лет двадцати трех, высокого роста, черномазый, с острым и немного кривым носом, высоким лбом и сдержанною улыбкой на широких губах, лежал на спине и задумчиво глядел вдаль, слегка прищутив свои небольшие серые глазки; другой лежал на груди, подперев обеими руками кудрявую белокурую голову, и тоже глядел куда-то вдаль. Он был тремя годами старше своего товарища, но казался гораздо моложе; усы его едва пробились, и на подбородке вилял легкий пух. Было что-то детски-миловидное, что-то привлекательно-изящное в мелких чертах его свежего, круглого лица, в его сладких, карих глазах, красивых, выпуклых губках и белых ручках. Все в нем дышало счастливою веселостью здоровья, дышало молодостью — беспечностью, самонадеянностью, избалованностью, прелестью молодости. Он и поводил глазами, и улыбался, и подпирал голову, как это делают мальчишки, которые знают, что на них охотно заглядываются. На нем было просторное белое пальто вроде блузы; голубой платок охватывал его тонкую шею, измятая соломенная шляпа валялась в траве возле него.

В сравнении с ним его товарищ казался стариком, и никто бы не подумал, глядя на его угловатую фигуру, что и он наслаждается, что и ему хорошо. Он лежал неловко; его большая, квер-

ху широкая, книзу заостренная голова неловко сидела на длинной шее; неловкость сказывалась в самом положении его рук, его туловища, плотно охваченного коротким черным сюртучком, его длинных ног с поднятыми коленями, подобных задним ножкам стрекозы. Со всем тем нельзя было не признать в нем хорошо воспитанного человека; отпечаток «порядочности» замечался во всем его неуклюжем существе, и лицо его, некрасивое и даже несколько смешное, выражало привычку мыслить и доброту. Звали его Андреем Петровичем Берсеневым; его товарищ, белокурый молодой человек, прозывался Шубиным, Павлом Яковлевичем.

— Отчего ты не лежишь, как я, на груди? — начал Шубин. — Так гораздо лучше. Особенно когда поднимешь ноги и стучишь каблуками дружку о дружку — вот так. Трава под носом: надоест глазеть на пейзаж — смотри на какую-нибудь пузатую козьявку, как она ползет по былинке, или на муравья, как он суетится. Право, так лучше. А то ты принял теперь какую-то псевдоклассическую позу, ни дать ни взять танцовщица в балете, когда она облокачивается на картонный утес. Ты вспомни, что ты теперь имеешь полное право отдыхать. Шутка сказать: вышел третьим кандидатом! Отдохните, сэр; перестаньте напрягаться, раскиньте свои члены!

Шубин произнес всю эту речь в нос, полулениво, полужутливо (балованные дети говорят так с друзьями дома, которые привозят им конфеты), и, не дождавшись ответа, продолжал:

— Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах насекомых их удивительная серьезность; бегают взад и вперед с такими важными физиономиями, точно и их жизнь что-то значит! Помилуйте, человек, царь создания, существо высшее, на них взирает, а им и дела до него нет; еще, пожалуй,

иной комар сядет на нос царю создания и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с другой стороны, чем их жизнь хуже нашей жизни? И отчего же им не важничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка, философ, разреши мне эту задачу! Что ж ты молчишь? А?

— Что? — проговорил, встрепенувшись, Берсенеv.

— Что! — повторил Шубин. — Твой друг излагает перед тобою глубокие мысли, а ты его не слушаешь.

— Я любовался видом. Посмотри, как эти поля горячо блестят на солнце! (Берсенеv немного пришепetyвал.)

— Важный пущен колер, — промолвил Шубин, — Одно слово, натура!

Берсенеv покачал головой.

— Тебе бы еще больше меня следовало восхищаться всем этим. Это по твоей части: ты артист.

— Нет-с; это не по моей части-с, — возразил Шубин и надел шляпу на затылок. — Я мясник-с; мое дело — мясо, мясо лепить, плечи, ноги, руки, а тут и формы нет, законченности нет, разъехалось во все стороны... Пойди поймай!

— Да ведь и тут красота, — заметил Берсенеv. — Кстати, кончил ты свой барельеф?

— Какой?

— Ребенка с козлом.

— К черту! к черту! к черту! — воскликнул нараспев Шубин. — Посмотрел на настоящих, на стариков, на антики, да и разбил свою чепуху. Ты указываешь мне на природу и говоришь: «И тут красота». Конечно, во всем красота, даже и в твоём носе красота, да за всякую красотой не угоняешься. Старикки — те за ней и не гонялись; она сама сходила в их создания, откуда — бог весть, с неба, что ли. Им весь мир принадлежал; нам так широко распространяться не приходится: коротки

руки. Мы закидываем удочку на одной точке, да и караулим. Клюнет — bravo! а не клюнет...

Шубин высунул язык.

— Постой, постой, — возразил Берсенеv. — Это парадокс. Если ты не будешь сочувствовать красоте, любить ее всюду, где бы ты ее ни встретил, так она тебе и в твоem искусстве не дастся. Если прекрасный вид, прекрасная музыка ничего не говорят твоей душе, я хочу сказать, если ты им не сочувствуешь...

— Эх ты, сочувственник! — брякнул Шубин и сам засмеялся новоизобретенному слову, а Берсенеv задумался. — Нет, брат, — продолжал Шубин, — ты умница, философ, третий кандидат Московского университета, с тобой спорить страшно, особенно мне, недоучившемуся студенту; но я тебе вот что скажу: кроме своего искусства, я люблю красоту только в женщинах... в девушках, да и то с некоторых пор...

Он перевернулся на спину и заложил руки за голову.

Несколько мгновений прошло в молчании. Тишина полуденного зноя тяготела над сияющей и заснувшей землей.

— Кстати, о женщинах, — заговорил опять Шубин. — Что это никто не возьмет Стахова в руки? Ты видел его в Москве?

— Нет.

— Совсем с ума сошел старец. Сидит по целым дням у своей Августины Христиановны, скучает страшно, а сидит. Глазют друг на друга, так глупо... Даже противно смотреть. Вот поди ты! Каким семейством бог благословил этого человека: нет, подай ему Августину Христиановну! Я ничего не знаю гнуснее ее утиной физиономии! На днях я вылепил ее карикатуру, в дантановском вкусе. Очень вышло недурно. Я тебе покажу.

— А Елены Николаевны бьют, — спросил Берсенеv, — подвигается?

— Нет, брат, не подвигается. От этого лица можно в отчаяние прийти. Посмотришь, линии чистые, строгие, прямые; кажется, нетрудно схватить сходство. Не тут-то было... Не дается, как клад в руки. Заметил ты, как она слушает? Ни одна черта не тронется, только выражение взгляда беспрестанно меняется, а от него меняется вся фигура. Что тут прикажешь делать скульптору, да еще плохому? Удивительное существо... странное существо, — прибавил он после короткого молчания.

— Да, она удивительная девушка, — повторил за ним Берсеньев.

— А дочь Николая Артемьевича Стахова! Вот после этого и рассуждай о крови, о породе. И ведь забавно то, что она точно его дочь, похожа на него и на мать похожа, на Анну Васильевну. Я Анну Васильевну уважаю от всего сердца, она же моя благодетельница; но ведь она курица. Откуда же взялась эта душа у Елены? Кто зажег этот огонь? Вот опять тебе задача, философ!

Но «философ» по-прежнему ничего не отвечал. Берсеньев вообще не грешил многоглаголением и, когда говорил, выражался неловко, с запинками, без нужды разводя руками; а в этот раз какая-то особенная тишина нашла на его душу, — тишина, похожая на усталость и на грусть. Он недавно переселился за город после долгой и трудной работы, отнимавшей у него по несколько часов в день. Бездействие, нега и чистота воздуха, сознание достигнутой цели, прихотливый и небрежный разговор с приятелем, внезапно вызванный образ милого существа — все эти разнородные и в то же время почему-то сходные впечатления слились в нем в одно общее чувство, которое и успокаивало его, и волновало, и обессиливало... Он был очень нервический молодой человек.

Под липой было прохладно и спокойно; залетавшие в круг ее тени мухи и пчелы, казалось, жужжали тише; чистая мелкая

трава изумрудного цвета, без золотых отливов, не колыхалась; высокие стебельки стояли неподвижно, как очарованные; как очарованные, как мертвые, висели маленькие гроздья желтых цветов на нижних ветках липы. Сладкий запах с каждым дыханием втеснялся в самую глубь груди, но грудь им охотно дышала. Вдали, за рекой, до небосклона все сверкало, все горело; изредка пробегал там ветерок и дробил и усиливал сверкание; лучистый пар колебался над землей. Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя; но кузнечики трещали повсеместно, и приятно было слушать этот горячий звук жизни, сидя в прохладе, на покое: он клонил ко сну и будил мечтания.

— Заметил ли ты, — начал вдруг Берсенеv, помогая своей речи движениями рук, — какое странное чувство возбуждает в нас природа? Все в ней так полно, так ясно, я хочу сказать, так удовлетворено собою, и мы это понимаем и любимея этим, и в то же время она, по крайней мере во мне, всегда возбуждает какое-то беспокойство, какую-то тревогу, даже грусть. Что это значит? Сильнее ли сознаем мы перед нею, перед ее лицом, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же нам мало того удовлетворения, каким она довольствуется, а другого, то есть я хочу сказать, того, чего нам нужно, у нее нет?

— Гм, — возразил Шубин, — я тебе скажу, Андрей Петрович, отчего все это происходит. Ты описал ощущения одинокого человека, который не живет, а только смотрит да млеет. Чего смотреть? Живи сам и будешь молодцом. Сколько ты ни стучись природе в дверь, не отзовется она понятным словом, потому что она немая. Будет звучать и ныть, как струна, а песни от нее не жди. Живая душа — та отзовется, и по преимуществу женская душа. А потому, благородный друг мой, советую тебе запастись подругой сердца, и все твои тоскливые ощущения тотчас исчезнут. Вот что нам «нужно», как ты говоришь. Ведь

эта тревога, эта грусть, ведь это просто своего рода голод. Дай желудку настоящую пищу, и все тотчас придет в порядок. Займи свое место в пространстве, будь телом, братец ты мой. Да и что такое, к чему природа? Ты послушай сам: любовь... какое сильное, горячее слово! Природа... какое холодное, школьное выражение! А потому (Шубин запел): «Да здравствует Марья Петровна!» — или нет, — прибавил он, — не Марья Петровна, ну да все равно! Ву ме компрене¹.

Берсенеv приподнялся и оперся подбородком на сложенные руки.

— Зачем насмешка, — проговорил он, не глядя на своего товарища, — зачем глумление? Да, ты прав: любовь — великое слово, великое чувство... Но о какой любви говоришь ты?

Шубин тоже приподнялся.

— О какой любви? О какой угодно, лишь бы она была налицо. Признаюсь тебе, по-моему, вовсе нет различных родов любви. Коли ты полюбил...

— От всей души, — подхватил Берсенеv.

— Ну да, это само собой разумеется, душа не яблоко: ее не разделишь. Коли ты полюбил, ты и прав. А я не думал глумиться. У меня на сердце теперь такая нежность, так оно смягчено... Я хотел только объяснить, почему природа, по-твоему, так на нас действует. Потому, что она будит в нас потребность любви и не в силах удовлетворить ее. Она нас тихо гонит в другие, живые объятия, а мы ее не понимаем и чего-то ждем от нее самой. Ах, Андрей, Андрей, прекрасно это солнце, это небо, все, все вокруг нас прекрасно, а ты грустишь; но если бы в это мгновение ты держал в своей руке руку любимой женщины, если бы эта рука и вся эта женщина были твои, если бы ты

¹ Вы меня понимаете (от фр. vous me comprenez).

даже глядел ее глазами, чувствовал не своим, одиноким, а ее чувством, — не грусть, Андрей, не тревогу возбуждала бы в тебе природа, и не стал бы ты замечать ее красоты; она бы сама радовалась и пела, она бы вторила твоему гимну, потому что ты в нее, в немую, вложил бы тогда язык!

Шубин вскочил на ноги и прошелся раза два взад и вперед, а Берсенеv наклонил голову, и лицо его покрылось слабой краской.

— Я не совсем согласен с тобою, — начал он, — не всегда природа намекает нам на... любовь. (Он не сразу произнес это слово.) Она также грозит нам; она напоминает о страшных... да, о недоступных тайнах. Не она ли должна поглотить нас, не беспрестанно ли она поглощает нас? В ней и жизнь и смерть; и смерть в ней так же громко говорит, как и жизнь.

— И в любви жизнь и смерть, — перебил Шубин.

— А потом, — продолжал Берсенеv, — когда я, например, стою весной в лесу, в зеленой чаще, когда мне чудятся романтические звуки Оберонова рога (Берсенеvu стало немножко совестно, когда он выговорил эти слова), — разве и это...

— Жажда любви, жажда счастья, больше ничего! — подхватил Шубин. — Знаю и я эти звуки, знаю и я то умиление и ожидание, которые находят на душу под сенью леса, в его недрах, или вечером, в открытых полях, когда заходит солнце и река дымится за кустами. Но и от леса, и от реки, и от земли, и от неба, от всякого облачка, от всякой травки я жду, я хочу счастья, я во всем чую его приближение, слышу его призыв! «Мой бог — бог светлый и веселый!» Я было так начал одно стихотворение; сознайся: славный первый стих, да второго никак подобрать не мог. Счастья! счастья! пока жизнь не прошла, пока все наши члены в нашей власти, пока мы идем не под гору, а в гору! Черт возьми! — продолжал Шубин